СОДЕРЖАНИЕ

1. Начала научной биографии 6

2. Новый мир: во Франкфурте
и в старом Гейдельберге 30

3. От критики позитивизма
к критике функционалистского разума 59

4. Постметафизическое мышление
и детрансцендентализированный разум 81

5. «Еще одна история философии»:
итоговые размышления 109

6. Идейное взаимодействие с друзьями и коллегами . 149

Примечания 186

От редакторов немецкого издания 195

Указатель имен 198

1. НАЧАЛА НАУЧНОЙ БИОГРАФИИ

Господин Хабермас, Вы однажды сказали: человек должен сделать в жизни нечто такое, во что укладывались бы его основные интенции. А в чем Ваши основные интенции и в какой мере они повлияли на развитие Ваших теорий, на Ваше профессиональное становление? Говоря конкретнее: что в 1949 году подвигло Вас записаться в Геттингене на изучение философии?

В 1949 году мое поколение сумело взглянуть на окончание Второй мировой войны как на поворотное историческое событие. К началу обучения у нас было уже четыре года времени на то, чтобы осознать всю глубину национал-социалистического водораздела и уяснить для себя, что же скрывалось под всей повседневной нормальностью, при которой мы когда-то росли и жили. Нам это было легче, чем большинству старших. Здесь нет личной заслуги, просто в юном возрасте мы были достаточно восприимчивы и могли ощутить, как из-под кажущейся нормальности тянет какой-то бездонной жутью. Нам не приходилось еще нести ответственность за свои поступки и проступки — а иначе бы сама память о виновности, о соучастии могла бы воспрепятствовать чистому осознанию. Гельмут Коль метко называл это «благодатью позднего рождения». Даже те, кто был лишь немногим старше, вынуждены были прорабатывать уже совсем другой опыт. Именно поэтому, кстати, в «споре историков» я всегда обращал особое внимание на год рождения каждого из участвующих. Национальная среда сделалась насквозь сомнительной, и в ее пределах не возникало никаких психологических препятствий на пути у молодых с их потребностью в самоопределении и просвещении, с их волей

к познанию. Было какое-то интуитивное прозрение, и оно отделило критически мыслящую часть моих ровесников от тех затверделых интеллектуальных установок, которые повсеместно окружали нас в тот момент: нацисты вовсе не были инородным телом внутри «в общем-то здоровой» культуры, не были наваждением, которое, по счастью, взяло и развеялось. Им действительно удалось поставить себе на службу то мрачное наследие нашей культуры, которое временами овладевало даже умами великих: так Томас Манн в начале Первой мировой мобилизовался на борьбу с «духом 1789 года». Только этим и можно объяснить заразную силу нацизма, не отпускавшую даже в бомбоубежищах. В первые послевоенные годы (вплоть до денежной реформы) в журналах и книгах все еще стремились как-то отдавать себе отчет о цивилизационном разломе, который, правда, тогда еще так не называли. Поэтому изучение философии для меня в каком-то смысле напрашивалось тогда само собой. Свою роль сыграла, конечно, и семейная история, тоже посодействовавшая моему выбору; помог и отец, охотно оплативший учебу.

Впрочем, сам выбор учебной дисциплины не стоит слишком переоценивать / слишком высоко оценивать, пусть даже философию выбирали исключительно по личному интересу, а об определенной профессии (тем более о преподавательской) тогда и речи не шло. Из выпускников школ в 1949 году в университеты шло пять процентов; сегодня это пятьдесят. Тогда университет давал больше свобод, чем теперь. Мы не просто обучались специальности, а скорее охватывали все темы и обстоятельства, к которым только можно было приблизиться на философском факультете. Программу в известной мере мы составляли сами, а по ходу обучения можно было подобрать себе два второстепенных предмета, необходимых для докторского экзамена, — причем без каких-либо переходных экзаменаций. А изучать философию я решил еще в школе, даже до аттестации.

А как Вы пришли к этому решению? Нас интересует, что Вы могли бы поведать о тогдашней своей жизненной ситуации, в особенности о своем пути к философии. Наверное, было что-то, что произвело на Вас наибольшее впечатление? Ведь в ранней юности Вы вроде бы мечтали стать медиком?

Первоначальное мое желание стать врачом и в целом мои интенсивные занятия человеческой анатомией, а также решение двенадцатилетнего мальчика обучиться на «полевого хирурга» в так называемом юнгфольке — все это, пожалуй, в большей степени связано с подростковой тревожностью, возникшей у меня из-за проблем с расщеплением нёба, о которой как раз в те годы я внезапно узнал. До этого времени детство мое и юность протекали довольно спокойно, — пусть на школьном дворе иногда и случались какие-то неприятные происшествия, — и мы с моим другом Юппом Дерром прожили эти годы более или менее наивной жизнью. Как бы то ни было, после окончания войны мои медицинские интересы сдвинулись в сторону теоретического знания, тоже под влиянием занятия биологией. Учитель, который в те годы пробудил во мне этот интерес, в нашу школу вернулся после войны из «Наполы» (!), — а значит, скорее всего, он успел побывать нацистом. Нас он, при всем том, наставлял в основах генетики и дарвиновской теории эволюции — очень толково и по-научному строго, без каких бы то ни было заметных коннотаций с «расовой биологией». Интересы мои, впрочем, на тот момент уже вышли за рамки биологии как таковой и продвинулись в антропологическую сторону. Где-то после денежной реформы, допустим, мне в руки попала книга Шульца-Генке[1], своего рода учебник психоанализа, подогнанного под нацистские нужды; в последние два года гимназии мне дозволили даже подписаться на журнал «Psyche». Тогда же — в поздние школьные годы — эти мои в широком смысле антропологические интересы соединились

с чтением кантовских и гердеровских работ по философии истории. К этому добавился еще сартровский экзистенциализм, — причем познакомился я с ним тоже по книге такого старого нациста, как Отто Фридрих Больнов (наше поколение на Сартра вообще глядело с придыханием, особенно на его театральные пьесы), а затем, конечно, я познакомился с марксистской литературой из коммунистического книжного магазина на улице Банхофштрассе в Гуммерсбахе и — в качестве, так сказать, противоядия — с ордолиберализмом Вальтера Ойкена и Вильгельма Рёпке, снискавшим расположение среди знакомых моего отца.

Все это я прорабатывал в незрелых, доморощенных «эссе», которыми потом осыпал Клингхольца, нашего выдающегося и высоко мною чтимого преподавателя латыни (среди гуммерсбахских учителей он, между прочим, был одним из немногих ненацистов), весьма тем самым действуя ему на нервы. Мой дядя Петер Вингендер, школьный учитель, преподававший также и философию, следил, чтобы волнующий меня предмет не затерялся среди вороха не более чем любопытных материалов, и рекомендовал мне к прочтению действительно «серьезные» вещи, вроде «Пролегомен» Канта. Когда живешь в таком мире и он, в интеллектуальном плане, целиком тебя захватывает, то философию выбираешь практически неосознанно, и нет в этом «фундаментального намерения». Я знал, конечно, что такая специальность влечет за собой определенный риск в жизни. Меня долго преследовало это чувство материальной необеспеченности. Даже когда, вопреки ожиданиям, я сумел получить профессорскую должность, у меня все еще не было никакой уверенности в своих успехах и достижениях, да даже в самом выборе профессии. Лишь в последние франкфуртские годы, восьмидесятые и девяностые, я постепенно почувствовал, что начинаю в известной степени овладевать своим делом: как преподаватель и как ученый.

Но разве не было какого-то «внутреннего» мотива при выборе специальности? Некой потребности, может быть, разобраться в собственных ценностных ориентациях?

Это больше похоже на платоновское самопонимание философии, которого я никогда не разделял. Оттого и было у меня всегда подозрение, что я «неправильный» философ: не тот, — уж простите за стереотипы! — кто отталкивается от своей собственной жизненной ситуации и устремляется к глубинам, к подлинно метафизическим прозрениям. Мои мотивы больше проистекают из марксизма и прагматизма. Мне кажется, что стремление хотя бы чуть-чуть улучшить мир или внести хотя бы какой-то вклад в борьбу с постоянно надвигающимся регрессом — это очень даже достойный мотив. Так что меня полностью устраивает имя «философа и социолога».

А просто «философ» — это уже сомнительно?

Я долгое время что-то такое предощущал. Теперь же, когда из круга ближайших моих коллег практически никого уже не осталось, я иногда об этом размышляю. Роберт Шпеман, конечно же, как никто другой присоединялся к одному из великих метафизиков, — имею в виду Фому, — причем сближение это было явным и непритворным; Шпеман умел высекать искры при *close reading* [внимательном чтении] классических текстов, и в этом он напоминал мне Лео Штрауса. Но и в моем узком кругу различные теоретические проекты, которые при всей их трезвости тоже направлялись мотивами, укорененными в традициях «великой философии». Назову из них некоторые, и да простятся мне грубые упрощения. У Карла-Отто Апеля уже его страсть к предельному обоснованию морали выдает его убеждение, что нам не следует слишком далеко заходить с постметафизическим мышлением; в этом же,

кстати, и было ядро наших разногласий. У Дитера Хенриха метафизический мотив первоначала лежит на поверхности: удостоверение дорефлексивного знакомства с самим собой открывает наше сознание для несущего истока Всеобъемлющего. Михаэль Тойниссен всю жизнь бился над религиозными мотивами: сначала — с опорой на Кьеркегора, затем — через свое интерсубъективистское толкование Гегеля, вдохновленное младогегельянством, а в конечном итоге — с попыткой вернуться к позднему Хайдеггеру, что, стоит добавить, лично мне показалось менее продуктивным. И даже Эрнст Тугендхат, философски наиболее ясный и трезвый из всех нас, свою философию языка рассматривал как переложение Аристотеля. Метафизические притязания внутри этических построений Тугендхата еще более очевидны по его позднему повороту к мистике: только растворение в захватывающем наглядном представлении (Anschauung) космоса могло бы быть способным сломить эгоцентризм субъекта, всегда тяготеющего к собственным интересам; иначе, как он считал, не удастся спасти универсалистское представление Канта о справедливости и разумной свободе. У меня таких вот «глубоких» мотивов найти невозможно. Меня всегда направляла, можно сказать, вела (bewegt) проблема социальной совместной жизни: как наладить эту хрупкую, до сих пор то распадающуюся, то восстанавливающуюся конструкцию. А собственная смерть — это философский мотив? Зависимость человека от природы я тоже всегда рассматривал скорее в антропоцентричном духе: соотнося эволюционный скачок с совершенно новым способом языковой социализации. Мой «последний» мотив, если хотите, — это высвобождающая сила слова, которая могла бы полностью раскрыться только во взаимно-эгалитарных взаимоотношениях всеобщего признания полностью индивидуализирующей социализации. Близкое и далекое, да и нет, эмансипация и регрессия, согласие и возражение, самостоятельность и зависимость — все это коммуникативные

переживания индивидов, а те становились теми, кто они есть, только на пути социализации, сохранить же себя они могут, только выдерживая баланс между двумя этими полюсами, находясь в хотя бы отчасти социально интегрированных отношениях. Вот интуитивное понимание, от которого я отталкивался при разработке своей философии и социальной теории; ко мне, в историческом плане, оно пришло в соприкосновении с теми философами, которые уже *после* Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля не боялись без остатка переводить религиозную интуицию в секулярную. Благополучная, не небезуспешная индивидуализация через социализацию: этой интенцией я обязан мотивам скорее библейским, чем греческим.

Это уже напоминает исходную интуицию.

Раз уж мы об этом заговорили, то, с Вашего позволения, добавлю кое-что более приземленное. Интуитивное искание благополучной или небезуспешной социальной интеграции вдохновило меня на создание теории коммуникативного действия*, и тем самым объясняется мой интерес к лингвистическому повороту. Далеко не сразу я понял, что лингвистический поворот обрел свойства парадигматической смены не сам по себе, а только благодаря идее, развивавшейся от фон Гумбольдта до Витгенштейна, — идее о языковом конституировании самого способа человеческого существования, то есть жизненной формы Homo sapiens. Ведущие аналитики, вроде Карнапа, Куайна или Дэвидсона, усматривали здесь, напротив, чисто методический смысл. Больше того, только благодаря прагматикам — Джорджу Герберту Миду и Уильяму Джеймсу, — усмотревшим в индивидуации и социализации их равноисходность и взаимосодействие, эта парадигма

* Одна из главных тем в философии Ю. Хабермаса, которой посвящена двухтомная работа: *Хабермас Ю.* Теория коммуникативной деятельности. М.: Весь мир, 2022. — *Прим. ред.*

обрела диалектический момент, свойственный динамическому переплетению напряженных взаимосвязей между первым, вторым и третьим лицом. Отношение «Я — Ты» устанавливается в рамках отношения «Мы», то есть между субъектами действия с их «Да» и «Нет»; субъекты эти — сознавая единую подоснову своего языка и, следовательно, открывающееся пространство общих оснований — объективируются относительно чего-то во внешнем мире, чтобы прийти к пониманию друг друга. Такие взаимоотношения я называю «диалектическими» в интуитивно понятном смысле — то есть еще не в *кризисном*, как у Гегеля: подрастающие дети лишь в той степени переживают себя как «Я» и развивают самосознание, в какой они научаются перехватывать взгляды второго лица, соотносящегося с ними как «Ты», и сами направлять их на себя. Но через взаимоотношение с другими сообщается не только самосознание. Изъяснение через коммуникативное действие и дискурс нацелено к достижению *согласия* посредством *обоюдной критики* обоюдных же притязаний на значимость и в этом смысле буквально является диалектическим процессом. Кроме того, оно подталкивает коммуникативно-действующие субъекты к занятию позиций, к «Да» или «Нет», и к принятию индивидуальной ответственности за выбор своей позиции. А в тех контекстах, что оказываются релевантны для жизненно-исторического пространства, под влиянием подобной ответственности не только подкрепляются *индивидуальная самостоятельность* и чувство собственной *незаменимости*, но еще и складывается, в определенных своих чертах, сама личностная *самобытность* как таковая.

Вернемся к биографии и к Вашему, так сказать, «первому» университету: почему Геттинген?

После окончания школы все вышло с университетом как бы само собой: Мартин Хайдеггер и Николай Гартман считались

в те времена ведущими философами, и учиться под их началом должен был «всякий», кто выбрал эту стезю. Я, допустим, вообще не знал, что во Франкфурте тоже есть университет. Фрайбург отталкивал меня тем, что там все еще сохранялась послевоенная практика принудительных работ по очистке и восстановлению города, — из-за войны я уже «потерял» один год в школе, а эти работы заняли бы еще несколько месяцев, если не целый семестр; в Геттингене же мне нужно было всего лишь пройти «собеседование» с Гартманом. В итоге, если память меня не подводит, я всего лишь рассказал ему — особого интереса экзаменатор не проявлял — немного о том, как я читал Рильке. Мой начальный семестр совпал по времени с предвыборной кампанией в первый Германский бундестаг; преступления нацистской эпохи, на которую, как бы то ни было, пришлось наше детство, у меня, поначалу, реакцию вызвали скорее нравственную, чем политическую, однако в последние школьные годы, уже после окончания войны и вплоть до самого выпуска, я так политизировался, что в Геттингене не пропускал уже, наверное, ни единого предвыборного мероприятия. Прекрасно помню, какое меня настигло тогда глубочайшее разочарование, что и неудивительно для молодого человека, который до тех пор все свои познания о демократии черпал, главным образом, из книг. Первая лобовая встреча с реальной демократией стала для меня настоящим шоком. И даже не из-за встречи с Отто-Эрнстом Ремером — полковником, который 20 июня 1944 года арестовывал в Берлине заговорщиков, а теперь сделался председателем праворадикальной Немецкой имперской партии. По-настоящему меня потрясли первые лица СЛРП, Немецкой партии и ХДС: *все они* выступали как праворадикалы. Там были Оберлендер, Зеебом и Меркац, которых я узнал как строптивых, вечно обиженных партийных говорунов, резко возмущавшихся оккупацией, — а чуть позже все они опять всплыли в первом кабинете Аденауэра!